

DOI: 10.31425/0042-8795-2021-1-79-98

ARS MEMORIAE — ARS OBLIVIONIS В ПОЭЗИИ «ПЕРВОЙ ВОЛНЫ» РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Иоланта Бжикцы

доктор филологических наук

Университет Николая Коперника в Торунь

(87 – 100, Польша, г. Торунь, ул. Гагарина, д. 11;

email: brzykcyjolanta1@gmail.com)

Аннотация. В статье исследуются основные модели памяти, характерные для поэзии «первой волны» русского зарубежья. В стихотворениях белоэмигрантов преобладает идея памяти долженствования, согласно которой запас хранимых в сознании воспоминаний о прошлом является фактором, обеспечивающим сохранение эмигрантами их «русскости». Этой идее противопоставлен, особенно в стихах эмигрантов младшего поколения, отказ помнить травмирующее прошлое, как личное, так и национальное.

Ключевые слова: поэзия «первой волны» русской эмиграции, индивидуальная память, коммуникативная память, коллективная память, культурная память, память долженствования, забвение, родина, чужбина.

Статья поступила 10.05.2020.

© 2021, И. Бжикцы

DOI: 10.31425/0042-8795-2021-1-79-98

ARS MEMORIAE — ARS OBLIVIONIS IN THE POETRY OF THE ‘FIRST WAVE’ RUSSIAN EMIGRANTS

JOLANTA BRZYKCY

PhD in Philology

Nicolaus Copernicus University in Toruń
(11 Gagarin St., Toruń, 87-100, Poland;
email: brzykcyjolanta1@gmail.com)

Abstract: The article examines the principal models of memory that are typical of the poetry of the ‘first wave’ Russian emigration. Poems by Russian émigrés are characterised primarily by the use of the biographical (individual) and collective (communicative and cultural) memory models. The dominant idea of memory as an obligation means that the hoard of memories about the past is a factor that enables emigrants to preserve their Russian identity. This ‘hypertrophied retrospectivism,’ to use Brodsky’s term, exercised its influence on all levels and planes of ‘first wave’ poetry, including its genre structure. This retrospective approach is rejected, especially in poems by younger generation poets, with its opponents refusing to remember traumatic experiences of the past, suffered either personally or on a national scale. The author, therefore, reveals and analyses two key variations of cultural memory which she believes to determine the internal structure and genre composition of the poetry by ‘first wave’ Russian émigrés.

Keywords: the poetry of ‘first wave’ Russian emigrants, individual memory, communicative memory, collective memory, cultural memory, memory as an obligation, oblivion, motherland, a foreign country.

The article was received on 10 May 2020.

© 2021, J. Brzykcy

Не ослабевающая в современных социальных и гуманитарных науках популярность *memory studies*, с одной стороны, и продолжающееся уже тридцать лет интенсивное развитие «эмигрантологии», — с другой, поспособствовали в последнее время исследованиям феномена памяти в литературе «первой волны» русской эмиграции. Результатом стал ряд работ, посвященных разным аспектам мнемонического дискурса белоэмигрантов. Предметом литературоведческого анализа было, между прочим, формирование культуры воспоминаний с целью сохранения национальной идентичности, воспоминания и память как эстетическое воплощение комплекса чувств и переживаний или манифестации памяти на уровне поэтики [Гаретто 1996; Конечный 1996; Степанова 2011; 2012; Димитриев 2017]. Однако те и другие вопросы прослеживались в первую очередь на материале художественной и мемуарной прозы белой эмиграции, которая в силу своих жанровых признаков (исповедальность, автобиографичность, ретроспективность...) стала лучшим выражением прожитой катастрофы и выдвинулась в центр историко-литературного процесса эмиграции, сыграв особую роль в выстраивании самоидентификации ее представителей [Степанова 2012: 110–111; Димитриев 2017: 27–28].

Категория памяти в поэзии «первой волны» не была предметом столь внимательного рассмотрения; она заметно реже привлекала внимание ученых, вследствие чего обоснованным кажется вывод о ее недостаточной изученности. В настоящей статье предпринимается попытка проследить за основными лирическими репрезентациями прошлого и памяти в стихотворениях белоэмигрантов, в том числе и традиционно принадлежавших ко «второму» и «третьему» литературным рядам.

1

«Гипертрофированный ретроспективизм» литературы русского зарубежья, как его назвал Бродский, оказал заметное влияние на все уровни и плоскости поэзии «первой волны», в том числе и на ее жанровую структуру. Популярность обрели лирические жанры, которые в силу культурной традиции, восходящей еще к античности, как нельзя лучше отвечали заданной теме. Распространенными были разного типа стихотворные элегии, эпитафии, лирические некрологи и посмертные портреты, а также другие жанры погребальной поэзии, объединяющим свойством которых была ориентация на увековечение памяти

ушедших из жизни видных представителей русской литературы метрополии и диаспоры и связанная с этим обращенность к прошлому.

Видное место среди поминаемых усопших занимал Н. Гумилев; рядом с его именем иногда ставили и А. Блока, так как смерть обоих в августе 1921 года — несмотря на совсем разные ее обстоятельства — воспринималась в эмигрантских кругах символически: как конец царской России и старой русской культуры. К примеру, А. Перфильев писал в стихотворении «Точка»:

Лишь вчера похоронили Блока,
 Расстреляли Гумилева. И
 Время как-то сдвинулось жестоко,
 Сжав ладони грубые свои...

 Так последняя вместила строчка
 Сумму горя, счастья, чепухи,
 И торжественно закрыла точка,
 Как глаза покойнику, — стихи.

Стихи посвящались также Б. Поплавскому, В. Ходасевичу, М. Цветаевой, З. Гиппиус или Г. Иванову — одному из «последних могикиан» «первой волны»¹. Порой они объединялись в циклы; примером могут служить «Медальоны» (1934) Игоря Северянина, немалая часть которых посвящена то классикам русской литературы (Достоевскому, Некрасову, Лескову и др.), то современникам поэта (Белому, Брюсову, М. Лохвицкой и пр.), которых в момент публикации цикла уже не было в живых.

В создаваемом общими силами поэтов лирическом некрополе — если воспользоваться заглавием мемуарных очерков

1 Ср. следующие стихи: Н. Берберова — «Я десять лет не открывала старой...» (с эпиграфом «Памяти З. Н. Гиппиус»), Б. Новосадов — «На смерть Игоря Северянина», Ю. Иваск — «Мандельштам», «Георгий Иванов», Т. Величковская — «Памяти Георгия Иванова», Г. Адамович — «Поговорить бы хоть теперь, Марина!» (с эпиграфом «Памяти М. Цветаевой»), М. Цветаева — «Маяковскому», А. Присманова — «С ночных высот они не сводят глаз...» (с эпиграфом «Памяти Бориса Поплавского»), В. Сумбатов — «Сказка с конца» (с эпиграфом «Памяти Е. Ф. Шмурло»), В. Злобин — «Свиданье» (с эпиграфом «Памяти Д. М. и З. Г.»), Г. Струве — «В. Ф. Ходасевичу» (вторая часть диптиха), П. Лыжин — «Нумизматика» («Памяти В. В. Розанова»), В. Андреев — «Прогулка с Б. Ю. Поплавским».

В. Ходасевича — оказались также безымянные родственники и друзья эмигрантов, заботливо оберегаемые от забвения. К этой группе стихов принадлежат «Дактили» Ходасевича — воспоминание об отце, небольшой цикл А. Шиманской «Мать», «Зеркала» Г. Лахман, посвященные брату, «Памяти друга» В. Булич, «Ушедшим друзьям» В. Андреева и многие другие.

Интересным примером лирического поминовения усопших служит «Requiem» С. Маковского, знаменитого летописца Серебряного века. Лирический субъект, рисуя экспрессивную картину потерянной «Российской земли и бесправья хаоса первобытного», обращается к своим собратьям, среди которых нашлись как корифеи русского модернизма, призываемые им поименно, так и преданные забвению, безымянные свидетели свершившегося апокалипсиса. Жанр становился, таким образом, категорией литературной памяти. Уместно здесь сослаться на данное М. Бахтиным истолкование жанра как целостного типа художественного высказывания, имеющего свое исходное, генетическое содержание и свою память: «Жанр живет настоящим, но всегда помнит свое прошлое, свое начало» [Бахтин 2002: 61], следовательно, когда писатель обращается к материалу, закрепленному за неким жанром, на почве современности, память жанра срабатывает помимо интенций автора, и сегодняшнее творчество оказывается выражением исторического опыта жанра. Развитию «памяти литературных жанров» [Erll, Nunning 2005] в поэзии «первой волны» способствовал и присущий ей в целом эстетический консерватизм, и стремление продолжать унаследованные традицией формы, и отказ от художественного экспериментаторства...

Элегическая память о прошлом, определявшая жанровые стратегии эмигрантских поэтов, сказывалась и на конструкции лирического «я», основным свойством которого является ностальгия по былому. Она заметна на межтекстовом уровне, так как в стихах разных поэтов находим похожие констатации: «О прошлом ведем рассказ...» (Б. Волков), «...о прежнем бредишь» (Ю. Трубецкой), «...задумываюсь о былом» (С. Маковский), «...с мертвыми веду беседу» (Ю. Терапиано), «...открываю память-шкатулочку» (Ю. Иваск). Тоска по прошлому изображается как перманентное духовное состояние эмигранта, его главное «занятие», порой даже цель бытия, как в стихах В. Сумбатова, для которого жить значит «видеть, слышать и любить <...> И ничего не позабыть».

Однако осознание собственной склонности к прошлому вызывает у поэтов далеко не одинаковые реакции. Для одних

она — естественная и даже желаемая часть их жизненной установки, другие, наоборот, свое тяготение к «ностальгическим неразберихам» (В. Набоков) считают вредным и пытаются от него избавиться. Именно это двойственное отношение к памяти является важнейшим свойством мнемонического дискурса поэтов «первой волны» русской эмиграции в целом. Оно находит выражение в диалектической игре воспоминания и амнезии, в обыгрывании противоречивых мотивов памяти и беспамятства.

2

Многие поэты, особенно старшее поколение, оказались в той ситуации, о которой писала А. Ассман: «Прошлое все еще тяжким грузом лежит на плечах настоящего, требуя к себе внимания и признания, побуждая нас взять на себя ответственность за него наряду с новыми формами памяти и поминовения» [Ассман 2012: 95].

Абстрагируясь пока от того, какие осколки разрушенного прошлого реконструировались эмигрантами в стихах, обратим внимание на повторяющееся в них непоколебимое убеждение, что минувшее навсегда останется в памяти, что можно (и нужно) сохранить его и передать сохраненное будущим поколениям. Идея *памяти долженствования* нашла отражение в освящающих ее эпитетах («святая память»), в метафорах памяти-шкатулочки или крепкого сундука, в которых хранится клад прошлого... Тенденцию *помнить (святое) прошлое* выражают также фразы, построенные на синонимических словах-ключак: «помнить» и «не забыть». Чаще всего они приобретают форму прямых заявлений, которыми будто обмениваются поэты. Так, утверждению И. Кнорринг «Я помню», повторенному ею в стихотворении «Рождество» троекратно и в силу того же повторения образующему композиционный и смысловой стержень лирического монолога, отвечает восклицание Дон-Аминадо «О, помню, помню!» из стихотворения «Уездная сирень». С ними перекликаются и заявления Н. Туроверова «Я запомнил навек...», «Я запомнил навсегда», тематически связанные с Крымом, равно как и признание С. Дубновой-Эрлих «Ничего не хочу забывать в чередѣ моих лет» из стихотворения «Клятва».

Близок названным фразам и вопрос «Ты помнишь ли?», который в разных синтаксических вариациях, сохраняющих, однако, свою семантическую основу, находим у Г. Раевского («Ты помнишь ли, как в царскосельском парке...») и К. Пестрово («Ты помнишь?.. След проселочной дороги...»). Риторический

характер этих обращений к адресату очевиден: субъект уверен в том, что прошлое не забыть, и каждый раз он ссылается на естественную для него живучесть минувшего.

Готовность помнить прошлое приобретает также форму заявлений или торжественных клятв, даваемых родине. Находим их, между прочим, в стихотворении И. Сабурой «Быть может, в Конго — или в Аргентине...», в «Клятве» С. Дубновой-Эрлих или в тексте В. Лурье «В воскресенье». Память рассматривается поэтами в духе Поля Рикера — как верность прошлому.

В перевернутом виде данная идея появляется в стихотворении Кнорринг «Стучались волны в корабли глухие...», так как в память лирического субъекта, покинувшего родину, врезались не идиллические картины, а братоубийственный конфликт:

...Вы помните — шесть лет тому назад
Мы отошли от берегов России.
Я все могу забыть: и боль стыда,
И эти годы темных бездорожий,
Но страшных слов: «Да утопи их, Боже!» —
Я в жизни не забуду никогда.

Иногда способность помнить минувшее изображается не как проявление воли субъекта, осознающего свой нравственный долг, а как состояние, не зависящее от него. Такое истолкование памяти встречается у Маковского (в «Requiem»: «...не могу не вспоминать»), Л. Пастернак-Слейтер (в «Отъезде за границу»: «То было много лет тому назад, / Но не забыть мне этой лунной сцены...»), у М. Визи (в «Белой апрельской луне»: «Нам присуждено хранить навеки в памяти <...> эту ночь») или у Е. Бакуниной (в «Гудке»: «Я не могу тебя забыть, / Как берег не забыть отливу»). Память представлена в них не в виде реколлекции (лат. *recollectio* — вновь собирать), то есть сознательного и целеустремленного восстанавливания прошлого, ангажирующего силу воли человека, а в виде ремеморации (лат. *memoratus* — припомненный), то есть процесса, в котором впечатления возвращаются в сознание без усилия воли, лишь по ассоциации, сходству [Аткинсон 1992].

К вышеназванным примыкают и стихотворения, в которых непредвиденность механизмов памяти выявляется за счет диковинных, гибридных пейзажей, составленных из осколков эмигрантского настоящего и отечественного прошлого. В них сквозь чужой, порой откровенно экзотический ландшафт просвечивают элементы русской природы или рисунок родного

города. По такому принципу построен итальянско-русский пейзаж у К. Померанцева («За окном флорентийское небо, / И на нем петербургский рассвет») или мексиканско-псковская картина у Ю. Иваска («Русь мешается в памяти с Мексикой...»). Тот же прием использует и Ходасевич в «Соррентинских фотографиях», в которых на итальянский пейзаж накладываются — будто два кадра на фотографической пленке — топографические пункты Петербурга и Москвы, а «непослушливость» воспоминаний отражена метафорой узловатой оливы с причудливыми, тесно сплетенными ветвями.

Переходя к вопросу о том, что фиксировалось в анализируемых стихах, нам придется начать с очевидной констатации: в поле зрения эмигрантов попадали самые разнообразные осколки минувшего. Парафразируя стихотворение Н. Тэффи, в котором лирическое «я» совершает путешествие на «остров воспоминаний», можно сказать, что такой остров был у каждого эмигранта. Для Л. Бердяевой ее *axis mundi* была Москва, в которой поэтесса жила до эмиграции и которую вспоминала спустя много лет, в первые дни Второй мировой войны, восстанавливая пейзаж далекого города, «укутанного в снег». Для Г. Раевского, родившегося в Царском Селе, в этой функции выступали екатерининские аллеи тамошнего парка с мраморными статуями. На свой «остров» отправлялся и В. Ильяшенко в «Малороссии», описывая «неоглядную даль степную», или В. Мамченко, рисуя в стихотворении «Память Черноморья» родной Николаев на берегу Южного Буга. Назовем и Г. Кузнецову, в одном из своих немногочисленных стихов о России упоминавшую Киев — «город грустного детства», «старинных храмов / И белых монастырей».

Многие из этих «русских уголков» не названы, известны одним авторам. Это заброшенные в необъятном русском просторе городки или деревни, иногда усадьбы, стены родного дома. Несмотря на всю свою незначительность, а возможно — наперекор ей, они заботливо реконструируются эмигрантами, описываются порой до малейших деталей.

К такого типа мемориальным пейзажам принадлежит дом из упомянутого стихотворения Тэффи:

На острове моих воспоминаний
Есть серый дом. В окне цветы герани,
Ведут три каменных ступени на крыльцо...
В тяжелой двери медное кольцо.

Над дверью барельеф — меч и головка лани,
 А рядом шнур, ведущий к фонарю...
 На острове моих воспоминаний
 Я никогда ту дверь не отворю!

Стоит обратить внимание на интертекстуальность стихотворения: «три каменных ступени на крыльцо» перекликаются со знаменитой фразой из ранней Ахматовой: «Показалось, что много ступеней, / А я знала — их только три...» («Песня последней встречи», 1911). Тэффи, ссылаясь на один из самых известных лирических текстов Ахматовой, оставшейся после большевистского переворота в России, активизирует не только индивидуальную, но и коллективную память, вводит личный пейзаж в поле культурных ассоциаций.

Та же детализированность описания свойственна и стихотворению «Пейзаж» М. Визи, в котором лирический субъект воссоздает подробную топографию своей «маленькой родины». Путешествие, пусть и мысленное, в пространстве предстает одновременно и как перемещение во времени, что выражено связью двух координат: русского поселка и «жизни разбитой осколком». Недаром обе лексемы сплочены точной рифмой, которая усиливает их смысловое единство:

Помнишь такое местечко:
 станция — поле — речка —
 дорога шла через мост...

 Жизни разбитой осколок —
 Тихий за рощей поселок,
 Улица — пыль — забор...

Наряду со стихами, основанными на сугубо личном опыте поэта и восстанавливающими индивидуальные нарративы, возникали и стихи, в которых активизировалась коллективная память. К ним принадлежат реконструкции революции и гражданской войны, отсылавшие к совместному багажу переживаний и впечатлений. Это, к примеру, «Февраль семнадцатого» В. Горянского — пейзаж Петербурга времен Февральской революции, «Переход» П. Потемкина — трогательная картина переправы поэта с женой и маленькой дочерью на лодке через Днестр, цикл Б. Болкова «Пулеметчик Сибирского правительства», основанный на воспоминаниях поэта о службе в Монголии в качестве

агента Временного Сибирского правительства, «Кавалерийская баллада» В. Лебедева, солдата Добровольческой армии, воевавшей с большевиками на юге России, многие стихи Н. Туроверова, по которым можно проследить его военную одиссею вплоть до врангелевской эвакуации из Севастополя в ноябре 1920 года...

Среди разных всплывающих в памяти эпизодов недавней катастрофы одно выдвигается на передний план: прощание с родиной. Оно описывается по-разному. К примеру, в «Отъезде за границу (в 1921 году)» Пастернак-Слейтер и в «Рождестве» Кнорринг — с точки зрения девочки, то есть как событие, значимость которого недоступна ребяческому уму. Но если Пастернак изображает его как головокружительное путешествие на поезде, завораживающее своей необычностью и поэтому вызывающее «тоску, любовь, надежды и волненье», то у Кнорринг это не приключение, а ужасающее бегство в никуда: «в ночь летели сдавленные стоны», «страшен был заплеванной вокзал», «в душных трюмах увядали дни», «становились вечностью минуты»...

В ряде текстов, объединенных мотивом прощания с Россией, повторяется кадр отхода судна от берега, отсылающий к одному из самых трагических эпизодов гражданской войны: Крымской эвакуации, проведенной штабом генерала Врангеля в ноябре 1920-го. Среди тысяч беженцев, которые в эти дни отплыли из портов Крымского полуострова, были Поплавский, Кнорринг, Туроверов, И. Голенищев-Кутузов... Подобный опыт был за плечами и у А. Эйснера, тоже отплывшего на корабле из Новороссийска в Константинополь. Именно их тексты («Уход из Ялты» Поплавского, «Отплытие» и «Крым» Туроверова, «От тебя, как от берега, медленно я отплываю...» Голенищева-Кутузова, «Стучались волны в корабли глухие...» Кнорринг, «Надвигается осень...» Эйснера) связаны картиной уходящего от морского берега судна (ср.: [Лапаева 2008]). Запомненные поэтами обстоятельства и детали этого события — разные, но разногласия уравниваются отчасти за счет повторяющихся координат морского локуса (волны, корабль, ветер, толпа, берег, даль, море), отчасти — благодаря эмоциональной настроенности стихов, вызванной характером изображаемого. «Исход» из России единодушно оценивается как ситуация пограничная — в том смысле, который придал этому термину Карл Ясперс, то есть как момент глубочайшего душевного потрясения, определяющий дальнейшую судьбу человека и оставляющий неизгладимый след в его душе [Мануковский 2012]. Пограничный характер прощания со страной выявлен в двух перекликающихся смысловых рядах. Первый объединен

мотивом непредсказуемости будущего: «Кто думать мог, что столько лет разлуки?» (у Поплавского) — «прощаясь с Россией навеки» (у Туроверова) — «Надолго ли? Как знать могла я, / Что жизнь моя решалась навсегда!» (у Пастернак). Второй — мотивом незабываемости происходящего: «Я запомнил навек / Неподвижность толпы на спардеке», «Уходящий берег Крыма / Я запомнил навсегда» (у Туроверова), «...страшных слов: “Да утопи их, Боже!” — / Я в жизни не забуду никогда...» (у Кнорринг), «То было много лет тому назад, / Но не забыть мне этой лунной сцены!» (у Пастернак). Характерно и то, что у Голенищева-Кутузова недавнее прощание лирического «я» с родиной служит предвестием собственной смерти, а Эйснер ставит между ними знак равенства: «Ну что ж. Уплывай. Умирай...»

С воспоминаниями гражданской войны перекликаются — в силу того же временного горизонта, ограниченного недавним прошлым, — стихи, в основу которых лег феномен Серебряного века. За границей в 1920-е годы оказались многие представители всех его эстетических направлений, организаторы и участники тогдашней культурной жизни, ее вожди и ученики, маститые литераторы и поэты второго ряда. Вобравшие в себя художественный и интеллектуальный «фон» эпохи, они актуализировали его на чужбине, создавая таким образом легенду Серебряного века как периода необыкновенно высокого духовного подъема, замечательных достижений во всех областях русской культуры. Видное место в этом отношении принадлежит Г. Иванову, в стихах которого с особой силой прозвучали мотивы гибели прежнего мира петербургской богемы. Пытаясь восстановить культурную атмосферу города и его ландшафт в последние дореволюционные годы, Иванов придавал своим зарисовкам явный апокалипсический оттенок. Так, в стихотворении «Январский день. На берегах Невы...» лирический герой обращается с отчаянной апострофой к недавним спутницам своей петербургской жизни:

Где Олечка Судейкина, увы!
Ахматова, Паллада, Саломея?
Все, кто блистал в тринадцатом году, —
Лишь призраки на петербургском льду...

В похожем ракурсе дано Ивановым и припоминание Нового года накануне Первой мировой войны. Беспечности участников тогдашней встречи, которые не могли предвидеть всех ужасов будущего, поэт противопоставил свое знание их судьбы,

рассматриваемой им уже в обратной временной перспективе — как прошлое:

В тринадцатом году, еще не понимая,
 Что будет с нами, что нас ждет, —
 Шампанского бокалы поднимая,
 Мы весело встречали — Новый год.
 Как мы состарились!

.....

Но этот воздух смерти и свободы,
 И розы, и вино, и холод той зимы
 Никто не позабыл, о, я уверен.

Воссоздаваемые поэтом картины творческого подъема на пороге национальной катастрофы, оппозиции бурного расцвета и распада культурного наследия России обыгрываются Ю. Терапиано в стихотворении, начало которого явно отсылает к вышеприведенному тексту Иванова:

Деятнадцатый год. «Вечера, посвященные Музе»...

.....

Вот Лившиц читает стихи о «Болотной Медузе»
 И строфы из «Камня» и «Tristia» — сам Мандельштам.

.....

О, как мы умели тогда и желать и любить!
 Как верили мы и надеялись, что возвратится
 Былое величье, которого всем не забыть.

Терапиано будто продолжает заданную Ивановым хронику Серебряного века, одновременно модифицируя ее тональность: если в 1913 году гибель русской культуры казалась невыносимой, то шесть лет спустя, в 1919-м, она становилась уже жестоким фактом.

Как стихи о гражданской войне, так и воспоминания о Серебряном веке активизируют коммуникативную память, потому что выходят за рамки индивидуального переживания и связаны с недавним прошлым, которое описывается с позиции участника или непосредственного свидетеля событий. В отдельную группу встраиваются стихи, предлагающие иную разновидность коллективной памяти, а именно ту, в которой толчок творческому воображению дан не «империи последними мгновеньями», а «отдаленным шумом веков». Несмотря на

свою недоступность в живом общении, далекое прошлое изображалось белоэмигрантами как познаваемое посредством «знаковых систем» и как принадлежавшее всем, кто готов вобрать его в себя. С одной стороны, поэтами реконструировались разные эпизоды истории русского государства и изображались исторические лица: времена монгольского нашествия на Русь («Кочевья» Бориса Волкова), восстание декабристов (цикл Михаила Цетлина «Кровь на снегу»), цари и императоры («Царь Федор», «Александр» Всеволода Иванова)... Их значение отлично укладывалось в рамки миссии русской эмиграции: стихи такого типа должны были хранить национальную историю и строить национальную тождественность тех, кто оказался за пределами родины. С другой стороны, к той же группе принадлежат стихи, основанные на мотиве Прапамяти, присущей человеку как носителю духа и позволяющей ему осуществлять связь времен. Таков, между прочим, небольшой цикл «Равенна» В. Сумбатова, в котором обыгрывается типичная для философской лирики оппозиция непреходящего и временного и заявляется аксиома бессмертности искусства, таковы стихи И. Бунина («Встреча») или Д. Кнута («Я, Довид-Ари бен-Меир...»), лирический субъект которых обладает экстерриториальной душой, чувствует заложенные в себе генетически другие жизни, носит в себе память предыдущих поколений, ощущает неразрывную связь своей линейной биографии с универсальными, иррациональными началами бытия. Благодаря тому он способен преодолеть смерть и достичь платоновского идеала, в котором прошлое, настоящее и будущее соединяются в одну вечность.

Несмотря на разную тематику, вышеназванные стихи выполняли и терапевтическую функцию. Благодаря памяти эмигрантское настоящее дополнялось прошлым, память возмещала урон, претерпеваемый бытием от повседневности [Асман 2004: 60].

Как воспоминания о гражданской войне или о Серебряном веке, так и стихи, отсылающие к далекому прошлому, активизируют коллективную память, но ее временной горизонт неодинаков: он то ли ограничивается историческим опытом в пределах индивидуальных биографий, то ли расширяется вплоть до бесконечности. Пользуясь теорией Яна Асмана, мы можем сказать, что в каждой из этих групп текстов действует иной модус воспоминания, характерный для коллективной памяти: *биографический* или *обосновывающий*. Первый связан с непосредственным опытом человека и его контекстом, который исследователь определяет как «recent past»; он «копируется

на социальное взаимодействие» и возникает сам собой. Второй — с истоком или происхождением, и он «работает с устойчивыми объективациями языкового и внеязыкового плана» [Ассман 2004: 54].

Несмотря на различный характер, оба модуса в белоэмигрантской поэзии взаимодействуют: сквозь личное просвечивает общее, вокруг индивидуальных воспоминаний складываются преломляющие опыт отдельных людей общие представления о прежней России. Важно подчеркнуть, что минувшее, а также присущие ему образы и предметы в рассматриваемых текстах часто сакрализуются — к примеру, в стихотворении Тэффи «Перед картой России» сама карта предстает как икона, священное изображение страны, помещенной в сферу сакрального:

...На лик твой смотрю я, как на икону...
 «Да святится имя твое, убиенная Русь!»
 Одежду твою рукой тихо трону
 И этой рукой перекрещусь.

Тот же процесс освящения России происходит и в стихотворении А. Биска:

Вот Русь моя: в углу, киотом,
 Две полки в книгах — вот и Русь.
 Склонясь к знакомым перелетам,
 Я каждый день на них молюсь.

На сверхтекстовом уровне сакрализация (или идеализация) России выражается в свойственной многим белоэмигрантам избирательности и тенденциозности памяти, результатом которой становится своего рода «рейтинг» затрагиваемых ими тем, связанных с родиной. Величие и непревзойденное богатство русской культуры, создаваемой на протяжении столетий и жестоко попорченной большевиками, занимают в нем лидирующее место, в то время как социальное несовершенство дореволюционной России, ее экономическая отсталость, размежевание общества, политический кризис накануне Первой мировой войны... — в принципе обходились молчанием. В поэзии «первой волны», пестреющей сентиментальными пейзажами разных уголков России, дорогих эмигрантскому сердцу, или реконструкциями государственной истории, трудно отыскать стихи, лишенные мечтательной или патриотической интонации. Даже в тех редких случаях, когда

в поле зрения поэтов попадали менее жизнеутверждающие аспекты бытия «России, которую мы потеряли», они воспринимались из эмигрантского далека как по-своему очаровательные и поэтому подвергались эстетизации. Интересным примером такой мифогенетической функции памяти служит стих Бакуниной «Гудок», в котором картина русской провинции — с босыми бабами, счищающими «с ног навоз налипший», «дорогой грязной, в ухабах», «сизой свиньей в канаве», становится импульсом для признания лирического субъекта:

...Убогий, закоснелый быт
 Под небом тучным и дождливым —
 Я не могу тебя забыть,
 Как берег не забыть отливу.

Тенденции к идеализации отечественного прошлого не ускользнули от внимания самих эмигрантов. Против «идиллических воспоминаний об утраченном благополучии» выступил Ходасевич в знаменитой статье «Литература в изгнании» (1933), видя в них одну из причин кризиса эмигрантской словесности. Ф. Степун, будто вторя Ходасевичу, противопоставлял воспоминаниям, пленительным, туманно трепетным и разлагающим душу сентиментальной мечтательностью, силу светлой памяти, которая «читит и любит в прошлом не то, что было и умерло, а лишь то бессмертное вечное, что не сбылось, но ожило: его завещание грядущим дням и поколениям» («Бывшее и несбывшееся», 1956).

Предостережения названных критиков можно назвать преувеличенными, если учесть, что в избирательном освещении эмигрантами прошлого немалое значение имели внутренние, не поддающиеся рационализации механизмы памяти (ср. [Нора 1999: 20]). Ее селективность определялась и желанием беженцев «отыскать в истории России события, которые помогли бы им забыть недавние ужасы, утвердить вечные, истинно русские ценности» [Раев 1994: 199]. Данная стратегия была поддiktована не эстетическими соображениями, а инстинктом самосохранения.

3

Иным поэтам тот же инстинкт подсказывал другие решения: вместо мифологизации прошлого или избирательного подхода к нему — полный с ним разрыв. Мнемонический дискурс в поэзии

«первой волны» осложнялся именно за счет тех стихотворений, которые шли вразрез с доминирующей моделью памяти-долга.

В них, в свою очередь, память являет себя не как важнейшая человеческая способность, которая несет добро созидания, а — в совсем другом аксиологическом ракурсе — как непосильное бремя, которое приковывает человека к прошлому и превращает его в раба. Выступая против экспансии памяти в зарубежной русской литературе и против того морального ригоризма, согласно которому многими русскими беженцами память воспринималась как добродетель, а забвение — как измена народу и его культуре, некоторые поэты «первой волны» вводили в стихи разные фигуры нарушения памяти.

Это в том числе метафоры с явно отрицательной смысловой нагрузкой, как «невидимый груз воспоминаний» в стихотворении А. Булич «Зеркальный ветер лежит на водах...», «память, этот вертлявый червь» из стихотворения В. Обухова «Грустно? Нет?.. Но молодость уходит...», «боль воспоминанья», упомянутая Т. Величковской в «Памяти Георгия Иванова», или олицетворение памяти-Кассандры, данное Е. Рубисовой в ее «Пейзаже» («Только бродит память моя, Кассандра, / Средь аллей запыленных книг»).

На синтаксическом уровне стремление освободиться от травмирующих воспоминаний отражается в разных предостережениях, советах, приказах или запретах, которые поэты адресуют как себе, так и другим. Р. Блох в стихотворении «Принесла случайная молва...» (пропетом А. Вертинским) противопоставляет память жизни и обращается к собеседнику с советом: «Надо жить — не надо вспоминать, / Чтобы больно не было опять».

М. Колосова («В мире мемуаров») призывает «сжечь о прошлом память», И. Кнорринг, будто вслед ей, приказывает: «Забудем, забудьте, забудь! <...> Давайте о завтра мечтать...» Л. Страховский признается в усталости от воспоминаний («Мне все равно нет силы вспоминать»), Ю. Трубецкой разоблачает их непродуктивность («Для чего ты о прежнем бредишь? / Все равно туда не поедешь...»), а В. Гальский в «Элегии» жалуется на их власть над человеком («Я о многом хочу навсегда позабыть и не помнить»).

Оспариванию памяти сопутствует и отвержение прошлого, толкуемого как опасное и вредное. В лучшем случае оно вызывает бессонницу, как в стихотворении А. Штейгера «Если правда, что Там есть весы...»:

...Стоит днем оторваться от книг
 И опять (надо быть сумасшедшим)
 Призадуматься — даже на миг,
 Над — нелегкое слово — прошедшим,
 Чтоб потом не уснуть до зари,
 Сплошь да рядом уже с вероналом...

Однако одержимость минувшим иногда равнозначна смерти, как в стихотворении И. Одоевцевой, основанном на метафоре прошлого — открытой могилы:

Неправда, неправда, что прошлое мило.
 Оно — как открытая жадно могила —
 Мне страшно в него заглянуть.

Концепции *памяти долженствования*, памяти — хранительницы русского культурного и исторического сокровища — противопоставляется право не помнить. *Ars memoriae* уступает место *ars oblivionis*. В таком ракурсе забвенье теряет традиционную отрицательную окраску, оно реабилитируется, упоминаясь не как дисфункция памяти, ее потеря, но как определенная, при этом сознательная, установка индивида, состоящая в создании и удержании дистанции по отношению к прошлому. Оно вычеркивается из памяти, но и одновременно остается в ней, пусть и как зачеркнутое, то есть не имеющее уже власти над человеком. Выработанная дистанция помогает освободиться от парализующей тяжести прошлого, следовательно — предоставляет грузу воспоминаний возможность «перегруппировки жизненных сил и возвращения к позитивной стратегии» [Разинов 2011: 23]. Такое «памятливое забвенье» предоставляет возможность освободиться из-под губительной власти минувшего и фокусироваться на настоящем, восстанавливать в нем свою жизнь и самого себя. Эта «тонкая игра недостижимого и уничтоженного» [Нора 1999: 12] иногда помещается в рамки отдельного лирического монолога, как в «Сочельнике» Маковского:

Что это? Мечты какие посетили
 сердце в ночь под наше Рождество?
 Тени юности? любовь? Россия? или —
 привиденья сердца моего?
 Тишиной себя баюкаю заветной,
 помня все, все забываю я

в этом сне без сна, в печали беспредметной,
в этом бытии небытия.

Интенция помнить отрицалась прежде всего поэтами младшего поколения, рожденными на рубеже веков и покидавшими Россию в подростковом возрасте (А. Штейгер, Л. Червинская, Т. Величковская, В. Гальской) или на пороге взрослой жизни (Р. Блох, А. Булич, И. Одоевцева). В характерном для их творчества отрицании памяти и реабилитации забвения проявлялся тот поколенческий фактор, который определил литературу «первой волны» в целом. Если старшие ее представители, прожив в стране полжизни — тридцать, сорок и более лет, — имели в арсенале фундаментальное прошлое и поэтому столь охотно откликались на призывы сотворить в слове Россию во всех ее повседневных деталях, то литературная молодежь не могла в этом отношении соперничать с ними. Поэтому меморизации прошлого она противопоставляла восстановление внутреннего «я», противостоящее небытию и рассыпанности внешнего мира. *Ars memoriae* и *ars oblivionis* образовали в их стихотворениях нерасторжимое целое. При этом они не существовали автономно, а вводились в мотивные и смысловые структуры, детерминированные самим состоянием эмиграции и укладывающиеся в типичные для него оппозиции: родина — чужбина, там — здесь, дом — бездомность, жизнь — смерть.

Литература

Ассман А. Трансформации нового режима времени // Новое литературное обозрение. 2012. № 4. С. 92–114.

Ассман Я. Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности / Перевод с нем. М. М. Сокольской. М.: Языки славянской культуры, 2004.

Аткинсон В. В. Память и уход за ней / Перевод с англ. Орел: Книга, 1992.

Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч. в 7 тт. Т. 6 / Ред. С. Г. Бочаров, Л. А. Гоготишвили. М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2002. С. 7–300.

Гаретто Э. Мемуары и тема памяти в литературе русского зарубежья // Блоковский сборник XIII. Русская культура XX века: Метрополия и диаспора / Ред. А. Данилевский. Тарту: Tartu Ulikooli Kirjastus, 1996. С. 101–109.

Димитриев В. М. Концепции памяти в прозе младшего поколения русской эмиграции (1920–1930 гг.) и роман Ф. М. Достоевского «Подросток». Дис. <...> канд. филол.

наук. СПб., 2017. URL: http://www.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=3WZ_5epveVA%03D&tabid=86 (дата обращения: 01.05.2020).

Конечный А. Петербург «с того берега» (в мемуарах эмигрантов «первой волны») // Блоковский сборник XIII. Русская культура XX века: метрополия и диаспора. 1996. С. 128–146.

Лапаева Н. Б. Мотив «ухода из Крыма» в поэзии русской эмиграции 1920–30-х годов // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 30. С. 64–73.

Мануковский В. В. «Пограничная ситуация» и «подлинное бытие» в экзистенциальных концепциях К. Ясперса и Л. Шестова // Вестник Челябинского государственного университета. 2012. № 18: Философия. Социология. Культурология. Вып. 25. С. 127–129.

Нора П. Проблематика мест памяти // Нора П., Озуф М., де Пюимеж Ж., Винок М. Франция — память / Перевод с фр. Д. Хапаевой. СПб.: С.-Петербург. ун-т, 1999. С. 10–26.

Раев М. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции 1919–1939 / Перевод с англ. А. Ратобильской, предисл. О. Казниной. М.: Прогресс-Академия, 1994.

Разинов Ю. А. Искусство забвения, или Не забыть забыть... // *Mixtura verbum* 2011: Метафизика старого и нового: философский ежегодник / Под общ. ред. С. А. Лишаева. Самара: СГУ, 2011. С. 21–35.

Степанова Н. С. Воспоминания и память в русских романах В. В. Набокова // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 2. С. 162–166.

Степанова Н. С. Художественные функции категории памяти в автобиографической прозе первой волны русского зарубежья // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2012. № 1. С. 108–111.

Erll A., Nunning A. Where literature and memory meet: Towards a systematic approach to the concepts of memory used in literary studies // *Literature, Literary History, and Cultural Memory*. 2005. Vol. 21. P. 261–294.

References

Assmann, A. (2012). Transformations of the new mode of time. Translated by V. Kucheryavkin. *Novoe Literaturnoe Obozrenie*, 4, pp. 92–114. (In Russ.)

Assmann, J. (2004). *Cultural memory and early civilization: Writing, remembrance, and political imagination*. Translated by M. Sokolskaya. Moscow: Yazyki slavyanskoy kultury. (In Russ.)

Atkinson, W. W. (1992). *Memory and how to take care of it*. Translated from English. Oryol: Kniga. (In Russ.)

Bakhtin, M. (2002). Problems of Dostoevsky's poetics. In: S. Bocharov and L. Gogotishvili, eds., *The collected works of M. Bakhtin (7 vols)*. Vol. 6. Moscow: Russkie slovari: Yazyki slavyanskoy kultury, pp. 7–300. (In Russ.)

- Dimitriev, V. (2017). *The concepts of memory in the prose of the younger generation of Russian émigrés (1920-1930) and F. M. Dostoevsky's novel 'The Adolescent' ['Podrostok']*. Candidate of Philology. St. Petersburg, Institute of Russian Literature (The Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences. Available at: http://www.pushkinskiydom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=3WZ_5epveVA%03D&tabid=86 [Accessed 1 May 2020]. (In Russ.)
- Erll, A. and Nunning, A. (2005). Where literature and memory meet: Towards a systematic approach to the concepts of memory used in literary studies. *Literature, Literary History, and Cultural Memory*, 21, pp. 261-294.
- Garetto, E. (1996). Memoirs and the theme of memory in Russian émigré literature. In: A. Danilevsky, ed., *Blok collection 13. Russian culture of the 20th c.: The metropolis and diaspora*. Tartu: Tartu Ulikooli Kirjastus, pp. 101-109. (In Russ.)
- Konechny, A. (1996). Petersburg 'from the other shore' (in the memoirs of the first wave émigrés). In: A. Danilevsky, ed., *Blok collection 13. Russian culture of the 20th c.: The metropolis and diaspora*. Tartu: Tartu Ulikooli Kirjastus, pp. 128-146. (In Russ.)
- Lapaeva, N. (2008). The motif of leaving the Crimea in the poetry of Russian émigrés of the 1920s – 30s. *Vestnik Chelyabinskogo Gosudarstvennogo Universiteta*, 30, pp. 64-73. (In Russ.)
- Manukovsky, V. (2012). 'Borderline situation' and 'authentic existence' in the existential philosophy of K. Jaspers and L. Shestov. *Vestnik Chelyabinskogo Gosudarstvennogo Universiteta*, 18: Philosophy. Sociology. Cultural Studies. Issue 25, pp. 127-129. (In Russ.)
- Nora, P. (1999). The concept of place of memory. In: P. Nora, M. Ozouf, G. de Puymège and M. Winock, *France – memory*. Translated by D. Khapaeva. St. Petersburg: S.-Peterb. un-t, pp. 10-26. (In Russ.)
- Raev, M. (1994). *Russia abroad. History of Russian émigré culture, 1919-1939*. Translated by A. Ratobylskaya. Moscow: Progress-Akademiya. (In Russ.)
- Razinov, Y. (2011). The art of forgetting, or Don't forget to forget... In: S. Lishaev, ed., *Mixtura verbum 2011: Metaphysics of the old and the new: A philosophical yearbook*. Samara: SGU, pp. 21-35. (In Russ.)
- Stepanova, N. (2011). Reminiscences and memory in V. V. Nabokov's Russian novels. *Znanie. Ponimanie. Umenie*, 2, pp. 162-166. (In Russ.)
- Stepanova, N. (2012). Artistic functions of the category of memory in autobiographical prose of the first wave Russian émigrés. *Vestnik Voronezhskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Philology, Journalism Series*, 1, pp. 108-111. (In Russ.)